

ЖОРЖ САНД

КОНСУЭЛО

(I-LX)

Жорж Санд

Консуэло (I-LX)

Серия «Консуэло (Мир книги)», книга 1

Серия «Собрание сочинений», книга 10

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17204384

Собрание сочинений: Консуэло (I—LX): Роман : Эксмо; Москва; 2010

ISBN 978-5-486-02434-4

Аннотация

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В данном томе публикуется одно из самых известных произведений Ж. Санд – роман «Консуэлло» (главы I–LX).

Содержание

I	4
II	11
III	25
IV	33
V	43
VI	59
VII	67
VIII	76
IX	87
X	92
XI	101
XII	110
XIII	118
XIV	135
XV	150
XVI	159
XVII	171
Конец ознакомительного фрагмента.	187
Комментарии	

Жорж Санд

Консуэло (I–LX)

I

[1]

– Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас – это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

– In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto¹, – пропела Констанца с вызывающим видом.

– Amen², – хором подхватили все остальные девочки.

– Скверный злюка, – сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

– Не по адресу! – произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шалов-

¹ Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (*лат.*).

² Аминь (*лат.*).

ливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола. – И все-таки, – добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, – эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка – не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела...

– Значит, это я!

– Нет, я!

– Вовсе нет, я!

– Я!

– Я! – закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности – к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), – маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опуститься на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он – всегда такой скупой – только что так расщедрил-

ся. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко^[2], но не самой красивой, а самой разумной.

– Консуэло? Испанка? – закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуган-

ная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

– Консуэло, – сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, – иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе^[3], которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

– Хорошо, дочь моя, – сказал маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. – Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти^[4], уже пройденную нами.

– Si, signor professore³, – ответила Консуэло. – А теперь мне можно уйти?

– Да, дитя мое. Девушки, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги – неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, – которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так утомительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

– Стыдно вам, красавицы! – сказал он. – Эта девочка – а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней – только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукос-

³ Хорошо, синьор профессор (*ит.*).

нительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавиесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть *понимание!*

– Не мог не выпалить своего любимого словечка, – крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. – Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

– Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? – сказала Джульетта. – Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

– Мне говорили, что ее мать цыганка, – добавила Микелина, – и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

– Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, – сказала красавица Клоринда, – я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

– Вы потеряли бы не так уж много! – возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

– Она совсем нехороша собой, – добавила еще одна. – Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет,

бесспорно: она дурнушка.

– Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консуло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти^[5], где знаменитый маэстро Порпора^[6] только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ^[7], где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо^[8], восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоём месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет респуб-

лики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у на-

рода Израиля или у еще более древних народов, но она принадлежала к потомкам Измаила^[9], все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для *zingarelle*⁴. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной *ebrea*⁵. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадцатилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал – до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строг и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное

⁴ Цыганки (*ит.*).

⁵ Еврейка (*ит.*).

и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, – это и есть настоящая, истинная некрасивость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, – подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца; такую именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кро-

пильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой синьор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

– Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

– А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? – спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

– Для того чтобы вас поздравить, – ответил молодой человек. – Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами, – вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

– Клянусь богом, это так, – проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку.

– Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, – настаивал граф. – Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту...

– Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами, – с грустью промолвил профессор. – В свежих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у нас нет, а вот что до музыкальных натур – увы, они так редки, так несовершенны...

– Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная, – возразил граф. – Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее наконец!

– А ведь правда, она доставила вам удовольствие? – спросил профессор, избегая ответа.

– Она растрогала меня, довела до слез... И при помощи таких простых средств, так естественно, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

– А что же такое я вам говорил? – торжествующе спросил маэстро.

– Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве – это простота, – ответил граф.

– Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

– Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица – она одна – стоит по ту сторону пропасти, а все остальные – по эту!

– Это верно и к тому же хорошо сказано, – потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

– Ну, а ее имя? – настаивал граф.

– Чье имя? – лукаво переспросил профессор.

– Ах, боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

– А для чего вам это имя, граф? – строго спросил Порпора.

– Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

– Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

– Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

– Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец

театра Сан-Самуэле^[10]. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы... Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

– Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, – возразил граф улыбаясь, – какое зло усматриваете вы в этом?

– А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

– Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

– Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы – к игривым песенкам, от алтаря – к подмосткам,

от великого – к смешному, от Аллегри^[11] и Палестрины^[12] – к Альбиони^[13] и к цирюльнику Аполлини^[14]?

– Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

– Решительно отказываюсь.

– И вы думаете, что я не открою его сам?

– Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

– Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: я видел ваше таинственное божество, я его угадал, узнал...

– Вот как! Вы убеждены в этом? – недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

– Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет: она высока ростом – это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, – бела, как снег на вершине Фриуля^[15], румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином, – прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

– Bravo! – насмешливо воскликнул Порпора. – В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы – Кло-

ринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды – возвышенному уму.

– Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? – с некоторым смущением проговорил граф.

– А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? – лукаво спросил маэстро.

– Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

– Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

– Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки; не мой ли это питомец Андзолето, самый смысленный и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в

Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас познакомиться с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют *fiori di mare*⁶. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку

⁶ Морские цветы (*ит.*).

вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

– В самом деле, красивый мальчик! – проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. – Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь ему, наверно, лет восемнадцать?

– Скоро будет девятнадцать, *siog profesor*⁷, – ответил Андзолето по-венециански. – А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

– Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, – проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето к своей ученице.

– О, это не для меня, господин профессор, – ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, – это ожерелья для продажи, чтобы купить потом рису и кукурузы.

– Она бедна, и ей еще приходится кормить свою мать, – пояснил Порпора. – Послушай, Консуэло, – сказал он девочке, – когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

– О, вам незачем запрещать ей это, *siog profesor*, – с живостью возразил Андзолето. – Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

– Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! – сказал граф.

⁷ Господин профессор (*ит.*).

– Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой.

– Она твоя родственница?

– Нет, она чужестранка, это Консуэло.

– Консуэло? Какое странное имя, – заметил граф.

– Прекрасное имя, синьор, – возразил Андзолето, – оно означает «утешение»...

– В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

– Она моя невеста, синьор.

– Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

– Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.

– В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.

– О, мы подождем, – проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолето прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

– Как вы находите эту девочку? – спросил профессор графа.

– Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина красавица».

– Прекрасно, – ответил профессор, – теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша

таинственная красавица – Консуэло.

– Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнечик? Быть не может, маэстро!

– Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она будет соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:

– Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек!

– Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? – спросил профессор.

– Разумеется.

– Вы обещаете мне это? – добавил Порпора.

– О, клянусь вам! – ответил граф.

III

Рожденный под небом Италии, возвращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолето, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец юноша, беспрепятственно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием мадонны; и, чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо^[16], собирая ракушки: он – для еды, она – чтобы делать из них четки и украшения; встречались и в церквях, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и

постоянным спутником. До сих пор Андзолето знал в любви одно лишь наслаждение. К Консуэло он испытывал чувство дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно: юное сердце Андзолето уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые нарушают покой людей пресыщенных и вносят разлад в их существование.

Предоставленный своим бурным инстинктам, стремясь к наслаждениям, любя лишь то, что могло дать ему счастье, и ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычайной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделием, он время от времени сходил с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых изливаниях. Он мог уже сказать,

как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам^[17] не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолето забавлялся с ней детскими играми как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет как мужчину и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии^[18] в померанцевых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей, которые заботились бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы^[19], забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризан-

ды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея ни малейшей возможности по-настоящему наряжаться: он – вывернув наизнанку старую куртку, она – прицепив себе на голову пышный бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты»⁸, стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная опасных ласк, не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзовето появлялись новые любовницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. А он, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свободной от всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзовето, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им

⁸ Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Венеции. (Примеч. авт.)

от ученика: прежде всего – серьезного и терпеливого склада ума, затем – скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, – отсутствия какого бы то ни было предварительного музыкального обучения. «Не хочу даже и слышать об ученике, – говорил он, – чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, хоть Порпора и признал необычайные способности юного Андзолето, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь подвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы *затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности.*

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группето, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолето исполнилось двадцать три года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-

Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и все самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем, решающем испытании. Впервые в жизни Андзолето сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздуху и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным до на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой – свисток.

Нечего говорить, что Андзолето волновался в душе, но его волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу, и едва лишь до него донесся одобрителный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации, как радость и надежда переполнили все его существо. Андзолето, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, в восторге от сознания своего успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение на

протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал композитор, но нашел новые, о которых никто не думал – ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерзкие находки захватили и увлекли всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства – десять нарушений методы. Так в искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей быстрее, нежели все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что именно вызвало такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Андзолето вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело:

– Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва достаива-

ла взглядом, – какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного юношу? Теперь наконец она его заметила и поразилась его красоте. Его огненный взор проник ей в душу. Побезденная, очарованная, она в свою очередь бросила на него долгий многозначительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолето покорила всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

IV

В этом взрыве единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою де-бютанта, только один из слушателей – он сидел на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, – оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзовето, позировал перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе^[20], понемногу разъехалось и у клавиесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.

– Дорогой профессор, – сказал он, – вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

– Послушайте, *signor professor*, – сказала по-венециански

прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в scuola⁹, – я хочу вас просить об одной милости...

– Прочь, несчастная! – с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. – Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

– Он уже смягчается, – проговорила Корилла, одной рукой взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теревить пышный белый галстук профессора... – Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения во всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.

– Вы были очень строги ко мне, господин профессор, – проговорил Андзолето, отвечивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. – Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы.

– Мальчик, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, – сказал профессор, стремительно поднимаясь с места

⁹ Школа (*ит.*).

и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, — не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, робкий; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь... гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено

озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден... Я прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души: у тебя нет преклонения перед искусством, нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог... ты смог бы... но нет... слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно...

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, очевидно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного приговора.

Хотя присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее несколько мгновений все испытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревожного... Андзолето, по-видимому, первый перестал думать об этом, несмотря на то, что слова профессора вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее, и, быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, – не потому, что был *жаден к богатству*, а потому, что был, как говорится, истым *фанатиком изящных искусств*. По-моему, это слово определяет весьма

распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное. *Культ искусства* – выражение слишком современное, неизвестное сто лет назад, – означает совсем не то, что *вкус к изящным искусствам*. Граф был человек с *артистическим вкусом* в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, – показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра – это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику! Когда иностранцам случалось спрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.

– Андоло, где ты живешь? – спросила дебютанта Корилла, оставшись с ним вдвоем на балконе.

При этом неожиданном вопросе Андолето покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной

красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.

– Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе? – смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолето поспешил ответить:

– Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин приютить исполненного гордости смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?

– Что ты, льстец, хочешь этим сказать? – возразила она, устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось извлечь из своего дьявольского арсенала.

– Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливецом, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.

– Или подобно *cissali*¹⁰! – громко смеясь, воскликнула певица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская – к жуку: «Легкомыслен, как жук».

– Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, – ответил

¹⁰ Морские чайки (*ит.*).

Андзолето, – только думайте обо мне хоть немного.

– Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, – возразила она, – то я увожу тебя в своей гондоле, и если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

– Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца.

– Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, – проговорила Корилла, понизив голос, – а то как бы Дзустиньяни не рассердился на меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолето тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того как Корилла появилась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, – говорил он себе, – но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?»

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолето, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на

верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее, по венецианскому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый локоть.

– А вы что тут делаете? – обратился к растерявшемуся Андзолето гондольер примадонны. – Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.

Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забился в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, оказавшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши.

Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

– Раз поют, значит, вам надо сидеть смиренно и ждать без

страха.

«Я еще не знаю этих обычаев», – подумал Андзолето и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своих мучительных опасений. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на носу, она не переставала посылать ему пожелания *felicissima notte*¹¹ до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

– Какова Корилла? – говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго. – Даю голову на отсечение – она не одна в гондоле.

– А почему вам могла прийти в голову такая мысль? – спросил Барбериго.

– Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

– И вы не ревнуете?

– Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант – это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистов-

¹¹ Счастливой ночи (*ит.*).

ства?

– Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолето был единственный, о ком они не подумали.

V

Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого избранника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Андзолето чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенным тщеславием; с другой стороны, его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствование подле нее будет недолгим, и если он не уклонился сразу от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал свою победу столь близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его галантность, а его уже полюбили – за молодость, красоту, за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения сразу же после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, – решил Андзолето с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроен-

ные головы. – Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада?» – думал он. Однако он быстро нашелся – разыграл недоверие, ревность, обиду, и с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему:

Андзолето. Я знаю, что вы меня не любите и никогда не полюбите. Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?

Андзолето. Я был бы в полном отчаянии, потому что потом свалился бы с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерял бы через какой-нибудь час.

Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?

Андзолето. Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про вас говорят.

Корилла. Кто же так злословит обо мне?

Андзолето. Все мужчины, так как все они обожают вас.

Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня?

Андзолето. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться.

– В таком случае, – сказала Корилла, – мне хочется сде-

лать этот опыт просто из любопытства... Андзолето, кажется, я люблю тебя.

– А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только потому, что прекрасно понимаю – вы смеетесь надо мной. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.

– Как видно, ты хочешь одолеть меня хитростью?

– А почему бы нет? Но я не так страшен, раз сам даю вам средство победить меня.

– Какое же?

– Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.

– Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под стеклянный колпак. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и так упрям!

– И вы презираете меня за это?

– Напротив, благодаря этому ты нравишься мне еще больше. Покойной ночи, Андзолето, мы скоро увидимся.

Она протянула ему свою красивую руку, и он страстно поцеловал ее.

«Ловко же я отделался», – думал он, мчась по галереям вдоль канала.

Не надеясь в столь поздний час достучаться в лачугу, где он обычно ночевал, Андзолето решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем райским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но впервые в жизни

он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб решиться на нее лечь. Хоть мостовая Венеции чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для черного костюма из тончайшего сукна и притом самого элегантного покроя. К тому же те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги, могли подшутить над ним, сонным, и нарочно испачкать роскошный наряд «дармоеда». Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолето пожалел о своем милом красно-коричневом шерстяном плаще, правда выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время года солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Андзолето пришло в голову забраться в одну из гондол, стоявших у берега, но все они оказались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь, он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него.

– Какого дьявола! – послышался грубый, охрипший голос из глубины. – Кто вы и что вам надо?

– Это ты, Дзането? – отвечал Андзолето, узнав голос гон-

дольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. – Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.

– А ты кто?

– Андзолето. Разве ты не узнаешь меня?

– Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая одежда, какой у Андзолето быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не пустил в свою гондолу человека, у которого есть нарядная одежда и нет угла, где спать.

«Пока что, – подумал Андзолето, – покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои капиталы соответствовали моим успехам. Пора уж мне иметь в кармане несколько цехинов, не то я не смогу играть ту роль, которую мне дали».

Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь остановиться, чтобы не схватить простуду, – от усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за этой истории! – думал он. – Завтра господин граф пожелает, чтобы его чудесного молодого певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, и если после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, я буду хоть немного хрипеть, тот немедленно объявит, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его вчера!» – «Так он не всегда одинаков? – спросит другой. –

Не слабого ли он здоровья?» – «А может быть, он переутомился вчера, – добавит третий. – В самом деле, он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Прежде чем выпускать его на сцену, вам, знаете ли, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». И граф ответит ему: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен». И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Ах, поскорее бы мне избавиться от него, и тогда, завоевав славу, расположенье публики, пользуясь конкуренцией театров, я стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге».

Так, рассуждая сам с собой, Андзолето дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют *corti*, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку, то, что теперь в Париже называется *cité* – кварталом. Однако что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим «дворам» далеко до наших современных кварталов. Это скорее маленькие темные площадки, иногда представляющие собой тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, населяют их обычно люди бедные и незначительные, все больше простой люд – рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, –

неудобство, которое прохожий переносит с большим терпением, ибо знает, что и его самого тоже только терпят, а права на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатухи, вдыхать воздух этих закоулков! В самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий перед ним раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными, деревенскими, и не всегда чисто плотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от утренней зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими и орущими на этом тесном пространстве, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских – все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и свои песни до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла^[21], расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение диалогов с *avocato*, с *tedesco*, с *diavolo*¹², пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками – счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.

Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без

¹² С адвокатом, с немцем, с дьяволом (*ит.*).

претензии, с таинственными тенями в углублениях, являются собой картину бесконечно живописного беспорядка, полного безотчетного, причудливого изящества. Все хорошеет под лунными лучами; малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает оригинальность, каждый балкон, увитый виноградом, переносит нас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей *плаща и шпаги*^[22]. А прозрачное небо, в котором поперх этих темных угловатых контуров тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы...

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно переключаясь, пробили два часа пополудни, Андзолето очутился на Кортэ-Минелли, у церкви Сан-Фантино^[23]. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как чей-то ласковый голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем, и, подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую еще ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой извилистой деревянной лесенке, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его

поцелуями; этот шепот, словно таинственный ветерок или лепет духов, парочками летающих в тумане, реет каждую ночь вокруг затейливых труб, которые, словно красные чалмы, увенчивают все венецианские дома.

– Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжка? – прошептал Андзолето.

– Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент?

– А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? – расспрашивал Андзолето, почувствовав угрызения совести при виде доверчивой кротости бедной девушки.

– Нисколько, – ответила она, целомудренно обнимая его за шею. – Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не помню. Беспокоилась ли? И не думала! Бранила ли тебя? Никогда в жизни!

– Ты просто ангел, – сказал Андзолето, целуя ее. – О мое утешение! Как жестоки и коварны другие сердца!

– Что же случилось? Чем так огорчили «сына моей души»? – воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и страстные метафоры своего родного

языка.

Андзолето рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая лишь то, что не могло огорчить Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было *почти* полной правдой. Однако существует сотая доля правды, которую никогда не смогло выявить ни одно судебное следствие, в которой никогда не сознавался своему адвокату ни один клиент и до которой никогда не добирался ни один судья – разве только случайно, – ибо именно в этих немногих оставшихся неосвещенными фактах или намерениях и кроется повод, причина, цель – словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.

Что касается Андзолето, то незачем говорить, что некоторые свои грешки он обошел молчанием, некоторые жгучие ощущения, пережитые перед публикой, осветил совсем иначе, а о страхах и волнениях, перенесенных им в гондоле, он и вовсе забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не рассказал о гондоле, а свои льстивые любезности по адресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности расска-

зять обо всем так, как оно было в действительности, то есть о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря осторожности и умелому обхождению, – зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать в Консуэло ревность? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы – вы сами – не рассказываете возлюбленному или, вернее, избранному вами супругу о всех поклонниках, которых вы отвадили, о всех его соперниках, которыми вы пожертвовали, – и не только до замужества, но и потом, на всех балах, еще вчера, даже сегодня утром?! Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолето, и делаете это не для того, чтобы показать себя в выгодном освещении, не для того, чтобы ранить ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кто и без того уже горд вашей любовью, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя свой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете *почти* все, замалчивая какой-нибудь пустяк – о нем вы никогда не упомянете, – тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этим взглядом, этой улыбкой, этим пустячком как раз и была гондола, о которой Андзолето, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не

знала ревности; это горькое, мрачное чувство свойственно душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственное, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, – это лестный, но суровый приговор, вынесенный почтенным маэстро, профессором Порпорой, ее обожаемому Андзолето. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя и, после того как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись.

– Консуэлина, – проговорил Андзолето, не обращая большого внимания на ее молчание, – становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Подумай, дорогая, ведь все наше будущее зависит от твоего голоса – больше даже, чем от моего.

– Я никогда не простужаюсь, – ответила она, – а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью.

– Чем мне поможет этот кусок дырявой тафты? Я предпочел бы с полчаса погреться в твоей комнате.

– Хорошо, – ответила Консуэло, – но тогда нам придется помолчать, а то соседи услышат нас и осудят. Люди они неплохие и не очень донимают меня за нашу любовь, потому что знают, что ты никогда не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше бы ты пошел спать к себе.

– Это немислимо: до рассвета мне не откроют, и мне придется мерзнуть еще целых три часа. Слышишь, как у меня

от холода стучат зубы?

– В таком случае идем, – проговорила Консуэло вставая. – Я запру тебя в своей комнате, а сама вернусь сюда, на террасу: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно.

И она действительно провела его к себе в комнату, довольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрасом из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатках, соломенный стул, небольшой столик, старинная гитара да филигранное распятие составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спинет^[24] и куча полуистлевших нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста, влюбленной в красивого искателя приключений.

Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолето не оставалось ничего иного, как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку.

– Моя дорогая, моя хорошая женушка, – пробормотал он, – я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна, и все сокровища мира за то, чтобы

укрыть ноги краешком этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бессонной ночи меня знобит, словно в лихорадке.

Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сирота, совсем одна на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед Богом. Веря в обещания Андзолето, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолето никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу немного неделикатной. Тем не менее она подошла к нему и взяла его за руку – рука была холодна, а когда Андзолето прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб юноши пылает.

– Ты болен! – воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. – Если так, конечно, поспи часок на моей постели.

Андзолето не заставил ее дважды повторять это предложение.

– Добра, как сам Бог, – прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы.

Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:

– Андзолето, кровать, на которой ты сейчас заснешь, – та, где я спала вместе с матерью последние годы ее жизни. Здесь

она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, сейчас я расскажу тебе, что она заставила меня обещать ей в свои последние минуты. «Консуэло, – сказала она, – поклянись мне перед распятием, что Андзолето ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчае­тесь в церкви».

– И ты поклялась?

– И я поклялась. Но сейчас, впервые позволив тебе лечь здесь, я уступила тебе не место матери, а мое собственное.

– А ты, бедняжка, так и не заснешь? – воскликнул Андзолето, делая над собой усилие и приподнимаясь. – Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!

– Нет! Нет! – сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. – Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание – не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, ничего дурного не делаю. Упокой, Господи, ее душу!

Тут Консуэло перекрестилась. Андзолето уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:

– Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал.

– Добра, как Бог, – в полусне повторил Андзолето, даже не заметив, что невеста оставила его одного.

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную ей на вчерашний день ее учителем Порпорой.

VI

Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и новые увлечения – Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, – далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которую эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.

И вот в тот самый вечер, когда Андзолето так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами Кориллы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и для собственного успокоения направился во дворец, где жила его любовница.

Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, однако же, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, который ставил гондолу примадонны под навес, специально для этого приспособленный. Несколько цехинов

развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник. Выяснить же, кто он такой, ему не удалось. Гондольеру этот человек был неизвестен: он видел Андзолето бродящим около театра и дворца Дзустиньяни сотни раз, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он не узнал его.

Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим соперником – единственной мезью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных увлечений, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в залу, где должны были собраться юные ученицы.

Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзустиньяни уже не был его музыкальным противником, – напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено высшее руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, – нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на препода-

вание и распространение музыки серьезной. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.

– Дорогой маэстро, – сказал граф, отводя его в сторону, – необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня завтра она надоеет и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей *succeditrice*¹³. (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.)

– У меня нет того, что вам нужно, – сухо ответил Порпора.

– Как, маэстро! – воскликнул граф. – Вы опять впадаете в черную меланхолию? Неужели после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы откажете мне в самом маленьком одолжении, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом?

– Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, – истинная правда. Поверьте человеку, который искренно к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является истинным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки

¹³ Преемница (*ит.*).

к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся де-бютантке.

– Все это так, – сказал граф, – но ведь мы сами создали Кориллу, мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть не менее очаровательные ученицы. Уж этого вы не станете отрицать, маэстро! Согласитесь, что Клоринда – красивейшее создание в мире.

– Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима... Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние. А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания... Правда, у публики тоже нет ушей... Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удастся многим другим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Ан-дзолето, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс якобы для того, чтобы перегово-рить с ним, и, стоя поблизости, слушал во все уши.

– Все равно, – сказал граф, не обращая внимания на злоб-ный выпад профессора, – я стою на своем. Давно я не слы-шал Клоринду. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Ан-дзолето, – прибавил он смеясь, – ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, вы-

бери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что господин профессор и я ждем их здесь.

Андзолето повиновался. Но шалости ради или с иной целью он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая»^[25].

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.

– Что за великолепные волосы! – шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.

– *На* этой голове гораздо больше, чем *внутри*, – ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певиц самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».

– Если его сиятельство позволит мне сказать два слова насчет того дела, которое так его беспокоит... – шепнул Ан-дзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

– Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем? – спросил граф.

– Да, ваше сиятельство.

– В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?

– В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда ваше сиятельство делает смотр своему женскому батальону.

– Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, и мои глаза никогда еще не видели его блеска? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку...

– Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет только в хоре, когда ее приглашают. Профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.

– Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?

– Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.

– И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечерах?

– Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили, что прогонят ее с хоров, если только она появится среди них...

– Так, значит, это девушка дурного поведения?

– О боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения, как и я сам, – однако же ваше сиятельство милостиво приближает меня к себе... А эти злые ведьмы пригрозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.

– Где же я смогу послушать это чудо?

– Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.

– Твоя уверенность внушает мне желание поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее... Я пытаюсь припомнить, но...

– В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina» Перголезе...

– Вспомнил! – воскликнул граф. – Голос, выразительность, понимание необыкновенные!

– И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.

– Да, но... помнится, она некрасива.

– Некрасива, ваше сиятельство? – переспросил изумленный Андзолето.

– Как ее звали?... Кажется, это была испанка... еще такое странное имя...

– Консуэло, ваше сиятельство.

– Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашим романом. Консуэло! Так, так... любимица профессора, умница, но уж очень некрасива.

– Некрасива? – повторил ошеломленный Андзолето.

– Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?

– Она моя подруга, ваше сиятельство.

– «Подругой» мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?

– Сестра, ваше сиятельство.

– Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоём предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто безобразна.

В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолето все еще стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Безобразна!»

VII

Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, что у Андзолето не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло, а между тем это правда. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой – привлекательной или неприметной – проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Кортэ-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолето: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смиренного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолето как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за «подругой» Андзолето. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или, может быть, ее наружность никого не прельщала? Последнее предполо-

жение наиболее правдоподобно.

А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы «переделываются», по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то, по крайней мере, миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она становится хорошенькой слишком рано...

Вступив в пору юности, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле уже не была некрасивой. Но поскольку она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, крича о том, как день ото дня расцветает красота царственного ребенка, поскольку некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолето: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».

Андзолето слышал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону – он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство,

этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничивалась и с течением времени почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту^[26] разучивать свой урок и съедать свой рис в обществе Андзолето, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в разных кафе, где она выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостоивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но впавшей в отчаяние матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь

являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Привязанность к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь – все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолето часто на это жаловался, но, видя, что его упреки бесполезны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолето не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и так же плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолето, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов для безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются... Он понял, что безделье и распущенность – не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Избавившись от порочных страстей, конечно, лишь из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за учение, но это уединение показалось ему тягост-

ным, тоскливым и трудным. Он почувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться из земли к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд – наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие – тяжело, болезненно, просто губительно, если оно вообще возможно. Впрочем, эти натуры не знают его; даже когда кажется, будто они предаются праздности, даже и тогда они работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что именно в это время они создают что-то, но в действительности они лишь выявляют то, что уже было создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я отвечу, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось проследить божественную тайну этой напряженной умственной деятельности на примере собственного бедного разума! Увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.

Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолето, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолето, сам того не сознавая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия – всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища Андзолето похитил у Консуэло, и это объяснялось тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолето, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с проворством котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности имели место и позже, когда Консуэло сделалась сиделкой у постели матери. Андзолето, не в си-

лах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни загораться вдохновением, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую жизнь и из вечера в вечер вместе с нею терпеть насмешки и вспышки раздражения умирающей. За несколько месяцев до смерти несчастная женщина стала страдать не так сильно и, покоренная дочерней любовью, открыла свое сердце более добрым чувствам. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолето был ровный характер и приятное обхождение. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец завоевало сердце матери, и перед смертью она заставила детей поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолето дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя – подругой, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже знаем, взяла с Консуэло особую клятву, что та не будет принадлежать возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за отсутствия рели-

гиозности у Андзолето и его независимого характера.

Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, чтобы приобщиться к будущей профессии Андзолето. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила на своем чердаке одна, он встречался с ней ежедневно, но не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки настолько развил в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, со временем они добьются блестящей карьеры. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее характере. Она была готова и дальше заниматься музыкой исключительно по призванию, а общность интересов, возникавшая у нее с Андзолето благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, внезапно решив ускорить осуществление их мечтаний, Андзолето даже не предупредил ее и в тот самый момент, когда Дзустиньяни раздумывал, кем бы заменить Кориллу, с редкой прони-

цательностью угадал мысли своего покровителя и сделал то неожиданное предложение, о котором уже шла речь.

Некрасивость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибся, внесло страх и смятение в душу Андзолето. И он побрел на Корте-Минелли, останавливаясь на каждом шагу, чтобы по-новому представить себе образ подруги и в сотый раз задать себе вопрос: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»

VIII

– Что ты так смотришь на меня? – спросила Консуэло, видя, что Андзолето, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. – Можно подумать, что ты никогда меня не видел.

– Это правда, Консуэло, – ответил он, – я никогда тебя не видел.

– Что ты говоришь? В своем ли ты уме?

– О господи! – воскликнул Андзолето. – У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, и оно мешает мне видеть тебя.

– Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!

– Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?

– Ну конечно, раз я тебя люблю.

– А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?

– Откуда мне знать?

– Но когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?

– Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев.

– Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?

– И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?

– Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен?

– Пожалуй, я и не заметила бы этого.

– Значит, по-твоему, можно любить и некрасивого?

– Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.

– Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же!

Ты в самом деле некрасива?

– Мне всегда это говорили. А разве сам ты этого не видишь?

– Нет, нет, право, не вижу.

– Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим.

– Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так, или это только мое заблуждение. Понимаешь, я отлично знаю твое лицо, знаю, что оно хорошее и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно, когда грустен, оно утешает меня, когда удручен, оно поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли ты некрасива.

– Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?

– Мне необходимо знать это. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?

– Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как любила

ее!

– И ты считала ее уродливой?

– Нет. А ты?

– Я и не думал о ее наружности. Но это совсем не то, Консуэло... Я говорю о другой любви – о любви страстной, а ведь тебя я люблю именно такой любовью, правда? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобой расстаться. Ведь это настоящая любовь, как по-твоему?

– А чем иным могло бы это быть?

– Дружбой.

– Да. Возможно, что это и есть дружба.

Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолето. А тот, погружившись в задумчивость, впервые задал себе вопрос, что он испытывал к Консуэло – любовь или дружбу, и о чем говорили это спокойствие чувств, это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее, – об уважении или о безразличии. В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру – все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолето, она отвернулась. Андзолето все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую тревогу, круп-

ные слезы одна за другой покатались по ее щекам, и, закрыв лицо руками, она воскликнула:

– О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой!

– Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! – воскликнул Андзолето, испуганный ее слезами, которые вызвал у нее впервые, и поспешно по-братски обнял ее.

Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо свежей, прохладной щеки поцелуй его встретил горячее плечо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти запыхает в сильном молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.

– Не знаю, что со мной, – проговорила Консуэло, вырываясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего друга, – но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю...

– Не надо умирать, дорогая, – говорил Андзолето, нежно поддерживая ее, – теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица.

Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту. И Андзолето, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям, предъявляемым сценой.

– Да скажи наконец, зачем тебе понадобилось сегодня,

чтобы я была красива? – спросила Консуэло, внезапно побледнев и обессилев.

– А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэло?

– Да, для тебя.

– А для других?

– Какое мне до них дело?

– А если бы от этого зависело наше будущее?

Тут Андзолето, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не слишком лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, вытерла слезы и рассмеялась.

– Как, – воскликнул Андзолето, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, – ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что далеко не некрасивы.

– Послушай, – ответила она улыбаясь. – Раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой: при моей наружности это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь уже не некрасива.

– В самом деле? Ты это слышала? Кто же говорил тебе это, Консуэло?

– Во-первых, моя мать: ее никогда не смущала моя некра-

сивость. Она не раз повторяла, что это пройдет и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих знавших ее слыхала, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота – дело одного мгновения: сегодня ты еще не красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.

– Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть, сколько тебе угодно.

– В добрый час! Да поможет нам Господь в остальном!

– Да, но все это не решает дела сейчас: необходимо узнать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.

– Проклятый граф! Только бы он не был слишком требователен.

– Но, уж во всяком случае, ты не дурнушка.

– Да, я не дурнушка. Еще недавно я слышала, как стекольщик – тот, что живет напротив нас, – сказал жене: «А знаешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же запоем – делается и вовсе красивой».

– А что ответила на это его жена?

– Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше зани-

майся своим делом: женатому человеку нечего заглядываться на девушек».

– И видно было, что она сердится?

– Еще как!

– Это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну, а еще что?

– А потом графиня Мочениго, – я шью на нее, и она всегда принимала во мне участие, – так вот на прошлой неделе захожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».

– А доктор что ответил?

– Он ответил: «Действительно, сударыня, я не узнал бы ее, клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть. Увидите, из нее выйдет красавица».

– Не слыхала ли ты еще чего?

– Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра – она заказывает мне вышивки для своих алтарей – тоже сказала одной из монахинь: «Разве я была не права, когда говорила, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию^[27]? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу Бога, чтобы она не впала в грех и всегда пела только в церкви».

– А что ответила сестра?

– Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, су-

щая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цецилию. Ее написал великий художник, и она такая красавица!

– И она похожа на тебя?

– Немножко.

– Почему же ты никогда мне об этом не говорила?

– Да я как-то не думала об этом.

– Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?

– Не знаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, люди просто не хотят меня огорчать теперь, когда я стала взрослой.

– Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько. Начать с того, что у тебя самые красивые глаза в мире!

– Зато рот слишком велик, – вставила, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в осколок разбитого зеркала.

– Рот не мал, но какие чудесные зубы, – продолжал Ан-дзолето, – просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься.

– В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня.

– А волосы какие чудесные, Консуэло!

– Вот это правда. На, посмотри...

Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.

– У тебя высокая грудь, тонкая талия, а плечи... До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.

– Нога у меня довольно маленькая, – желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную ножку – ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции.

– Ручка – тоже прелесть, – прибавил Андзолето, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. – Ну, покажи мне свои руки повыше!

– Ты ведь их сто раз видел, – возразила она, снимая митенки.

– Да нет же! Я никогда еще их не видел, – сказал Андзолето.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование началось странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее.

Быть может, он был не совсем слеп и раньше: быть может, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение спокойной беспечности, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая

легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства пробудившейся стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистым блеском глаз действительно напоминала святую Цецилию из монастыря Санта-Кьяра.

Андзолето не в силах был оторвать от нее взгляд. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким оконцем быстро темнело, и в этом полусвете Консуэло стала еще красивее, – казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове Андзолето пронеслась мысль отжаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой дотоле силой, но холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось дать волю своим пылким восторгам и проверить, может ли красота Консуэло пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он обладал прежде. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять это новое для него сладостное ощущение заставляла желать, чтобы оно длилось как можно дольше.

Вдруг Консуэло, которая уже не могла больше выносить охватившее ее смущение, заставила себя вернуться к прежней беззаботной веселости и принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из какой-то оперы и сопровождая пение трагическими жестами, словно на сцене.

– Да ведь это великолепно! – с восторгом и изумлением воскликнул Андзолето, увидев, что она способна прибегать к таким сценическим трюкам, каких никогда еще ему не показывала.

– Совсем не великолепно! – сказала Консуэло садясь. – Надеюсь, ты это говоришь в шутку?

– Уверяю тебя, на сцене это было бы великолепно. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким неистовством.

– Мой милый Андзолето, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею подражать Корилле, то я бы больше не захотела и появляться перед ней.

– Ты, значит, надеешься превзойти Кориллу?

– Да, надеюсь или откажусь от всего.

– Как же ты это сделаешь?

– Пока еще не знаю.

– Попробуй.

– Нет, все это одни мечты: и пока не будет решено, дурна я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, Консуэло действительно уродлива.

Это последнее предположение дало Андзолето силы уйти.

IX

В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе^[28], Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберти^[29] (известного под именем «Порпорино») и певиц Минготти^[30], Габриэлли^[31], Мольтени^[32], – словом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом городе, и то был самый блестящий период его жизни. Именно в ту пору им были написаны и поставлены лучшие его оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда не без некоторых усилий, добился там покровительства императора Карла VI^[33]. Он пользовался также благоволением саксонского двора¹⁴, а затем был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим великим Генделем^[34], звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя

¹⁴ Никколо Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. (Примеч. авт.)

восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости и почти без денег, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории^[35]. Он написал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Венеции, пошла только в лондонском театре, где не имела никакого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточила его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.

В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал припадок раздражения, и его неудовольствие имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Йомелли^[36], Лотти^[37], Кариссими^[38], Гаспарини^[39] и других превосходных мастеров, то это не мешало публике одновременно увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки^[40], Буини^[41], Сальваторе Аполлини и других более или менее бездарных композиторов, чей легкий и вульгарный стиль был по душе людям посредственным. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задушить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной су-

ровостью он порицал грациозные произведения Галуппи^[42] и даже своеобразные фантазии Кьодзетто^[43] – популярного в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини^[44], о Дуранте^[45], о Монтеверди^[46], о Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло^[47] и к Лео^[48]. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Консуэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, Порпора встретил холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, будет подвергнут профанации, приводила старика в ужас. Опустив голову, подавленным голосом он ответил графу:

– Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый ум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.

Серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит, есть за что.

– Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?

– Вы ее услышите, – проговорил Порпора с видом человека, покорившегося неизбежному, и повторил: – Такова ее судьба.

Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ставившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успеха. Он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан в отношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною славой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим днем в жизни самого графа.

Порпора, убежденный его доводами, немного смягчился и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, полагая, что она может придать новый блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, поскольку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в узком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы графа он отвечал:

– Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждается в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подготовиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей,

чьи лица удивительно преображаются под влиянием вдохновения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предоставьте это мне: если вам она не подойдет, я возьму ее к себе и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая прославит школу, где будет преподавать.

Такова была в действительности та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка наивно выразила опасение, что тот найдет ее некрасивой, учитель убедил ее в том, что граф во время богослужения будет сидеть в церкви и не увидит ее за решеткой органа, но все же посоветовал ей одеться поприличней, ибо после службы собирался представить ее графу. Как ни беден был благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и Консуэло, взволнованная, растерянная, впервые в жизни занялась своей особой и наспех принарядилась. Она решила также испытать свой голос и, запев, нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолето:

– Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме умения петь?

Х

Накануне торжественного дня Андзолето нашел дверь в комнату своей подруги запертою на задвижку и, только прождав на лестнице около четверти часа, смог наконец войти и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолето простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.

– Ну вот! – воскликнула она. – Я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносно, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия?

– Подожди, подожди, – возразил Андзолето. – Прежде всего я в восторге от твоей прелестной талии – она очень выигрывает от этого длинного лифа, а кружевная косынка придает тебе такой благородный вид! Юбка падает широкими складками и сидит на тебе прекрасно... Но мне жаль твоих черных волос... Да, мне кажется, что прежде было лучше. Ничего не поделаешь – они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть синьорой.

– А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу пудру, она обесцвечивает и старит самых красивых, а в этих нарядных тряпках я кажусь себе какой-то чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что ты того же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая! Вот счастливица, достаточно только взглянуть на нее, чтобы убедиться в ее красоте! Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.

– Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.

– И она пела плохо?

– Так, как поет всегда.

– Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда – при всем своем тщеславии она ведь совсем не плохая девушка – потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и поделила с ней ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга... И все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, любимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем другой, не той, что была прежде.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.

– Плакать теперь? Как можно! – воскликнул Андзолето. – У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло... Смотри не порти их – они самое красивое, что у тебя есть.

– Или менее некрасивое, чем все остальное, – произнесла она, утирая слезы. – Оказывается, когда отдаешь себя сцене, не имеешь права даже плакать.

Андзолето пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платье, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолившись, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолето на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно по воскресеньям, – она репетировала арию, которую должна была исполнять.

– Как! – вскричал он. – Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти. О чем ты думаешь, Консуэло?

– Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И хочу остаться в таком виде, – сказала она решительным тоном. – Все эти нарядные платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело

решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а матушку – наставить, как мне себя вести. И вот Господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках Божьих». Я видела, как она взяла мое нарядное платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платье и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черное платье, косынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как отказалась от тех средств нравиться, которые мне чужды. Послушай лучше мой голос, – все зависит от него.

И она исполнила руладу...

– О господи! Мы погибли! – воскликнул Андзолето. – Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно, плакала вчера вечером! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей переодевайся, а я пока сбегая за румянами. Ты бледна как мертвец.

Между ними разгорелся жаркий спор. Андзолето был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Андзолето, и размолвка была в разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы бегом добежать до церкви. Андзолето разразился проклятиями. Консу-

эло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолето.

– Друг мой! – воскликнула она. – Не брани, не проклинай меня! Лучше поцелуй меня крепче, чтобы размякнуть мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи^[49] и пусть Господь не покарает нас за то, что мы усомнились в Его помощи!

Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолето ни жив ни мертв направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением.

Но разглядеть ее лицо он еще не мог: придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи, – шептала она, – ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унижить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя сцене и мирскому искусству, я не хочу забыть Тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и

придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу Тебе, лишь ради того, чтобы я могла соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи, – тут граф и Андзолето, полные нетерпения и тревоги, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В безмятежном взгляде не видно было мелкой жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что-то трогательное и внушающее уважение.

– Мужайся, дочь моя, – шепнул ей профессор, – ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; он здесь и будет слушать тебя.

– Кто, Марчелло? – спросила удивленная Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

– Да, Марчелло. А ты пой как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил – как компози-

тор, как писатель и как государственный деятель. Он всегда выказывал много внимания Порпоре, который и попросил Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз композитору, поставил первым номером его великолепный псалом: «I cieli immensi narrano»^[50], который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого глубокого захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолето, она помнила только о Боге и о Марчелло. В композиторе она видела сейчас посредника между собою и тем сияющим небом, славу которого готовилась воспеть. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!

I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria;
Il firmamento lucido,
All' universo annunzia,
Quanto sieno mirabili
Della sua destra le opere¹⁵.

¹⁵ Безмерное небо глаголет Творца-вседержителя славу; И свод лучезарный вещает По всей беспредельной вселенной О том, как велики и дивны Деянья господней десницы (ит.).

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего выдающимся умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:

– Клянусь богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза^[51], святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!

У Андзолето подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не хватило терпения дожидаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока священники читали псалмы, Консуэло спустилась в церковь, так как Марчелло пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так взволнован, что едва мог говорить.

– Дочь моя, – начал он прерывающимся голосом, – прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг

заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину^[52], Романину^[53], Куццони^[54], всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один смертный!

Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как бы намереваясь встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца. Но, поднимаясь, она кинула на Андзолето взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!»

XI

В течение остальной части богослужения Консуэло проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел

на Консуэло, и Андзолето прекрасно понимал, что говорит его взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов – любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавец Андзолето в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы были очень оживленны: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из мо-

лодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию: у одних – чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у других – чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь воссесть рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта *нищенка* Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Гнев исказил ее лицо, она стала такой некрасивой, какую никогда не была Консуэло и какую стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолето, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограничена, а Андзолето слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.

Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, которые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики,

чем талант и умение, проявленные ею в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барбериги и несколько других знатных молодых людей приняли предложение графа. Андзолето также был допущен. Консуэло, со смущением подумав о том, что ей придется быть одной в обществе столько мужчин, тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понимавший причины ухаживания Андзолето за бедной красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей больше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее просьбу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, отличался немалым самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее коварной Корилле, граф, считая это вполне естественным, сразу же начал ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и прямой, даже в голову не могло

прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухаживать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолето, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.

Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, – я хочу сказать, *была просвещена*, особенно сто лет тому назад, да еще при наличии такого друга, как Андзолето. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение, он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтительности, в котором не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, – думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. – Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщина-

ми, молодой Барбериго задал себе вопрос, с какой стати этот ничтожный мальчишка Андзолето захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, попытался намекнуть юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания за девицами он взялся за весла. Андзолето, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.

– Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло, – громко обратился он к Клоринде. – До чего она дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела своим пением во всем городе, – она еще строит глазки нашему бедному графу. Если он и не потерял окончательно голову, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.

– О, этого можно не бояться! – лукаво возразила Клоринда. – Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолето, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью бог знает сколько лет.

– Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгновение, – возразил Барбериго, – особенно когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не

находите, прекрасная Клоринда?

Андзолето не в силах был долго выносить такие насмешки. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозрение. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подруги, и если в течение двух часов он забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то единственно для того, чтобы дать какой-то выход своему восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолето сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки нарушить беседу графа с Консуэло Андзолето заметил, что его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни: тот ответил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.

– Великий Порпора не мой учитель, – заметил Андзолето шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство, – он учитель Консуэло, и если глубокоуважаемому графу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у кого, кроме как у своего старого профессора... – ласково и вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу.

– Милейший Дзото, – перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, – мне надо что-то вам сказать на ухо. – И, нагнувшись к нему, проговорил: – Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение хотя бы одного вечера...

Андзолето похолодел с головы до ног.

– Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее, – задыхаясь, проговорил он.

– Это можно сделать в двух словах, любезный друг: «гондола за гондолу», – отрезал граф.

Андзолето так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.

– Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы!^[55] – невозмутимо проговорил граф. – Потом расскажете мне, это очень меня интересует...

– Я это вижу, ваше сиятельство, – ответил взбешенный Андзолето, который был способен сейчас погубить все свое будущее.

– Что же ты медлишь? – наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. – В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.

И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвижилось, нашел нужным притвориться.

– Андзолето, – улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо, – вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознаться, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от короткого невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?

– Ваше сиятельство, – в сильном волнении вскричал Андзолето, – уверяю вас честью...

– Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? – спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.

– Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость? – спросил Андзолето, к которому успела вернуться его обычная находчивость.

– Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично, – сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.

XII

Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец – коснулись способов выражения и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел: он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады.

– Значит ли это, что вы, маэстро, отвергаете трудные пассажи и фиоритуры^[56], которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? – спросил его Андзолето.

– Я отвергаю их в церкви, – ответил маэстро, – а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте, и главное – чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, изобретательности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и герою пьесы, чувствам, которые он выражает, и положению, в котором он находится. Пусть нимфы и пастушки

щебечут, как птички, и своим лепетом подражают журчанию фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона^[57] может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, это ей не удастся. И напрасно будет она метаться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, она не имела себе равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность, – и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, которые расточала перед вами Фаустина. Ибо существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает... Есть то, что удивляет, и то, что восхищает... Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде, но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, когда слышу, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных возгласов удивления и лихорадочного восторга.

Никто не стал оспаривать это мнение, неизменно правильное по отношению ко всем видам искусства и применимое ко всем проявлениям таланта истинно артистических натур. Один лишь граф, сторажая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, стал для вида противоречить чересчур суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает ереси своего старого учителя, а напротив, не сводит с него глаз, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться к ней самой с вопросом, сможет ли она петь на сцене с тем же умением и чистотой, с какими пела в церкви.

– Сомневаюсь, – ответила она с искренним смирением, – чтобы мне удалось найти такое же вдохновение на сцене; боюсь, что там я много потеряю.

– Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, – сказал граф. – Я уверен, что публика, страстная, увлекающаяся, правда, немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете изучить те трудные, но полные блеска арии, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше.

– Изучить! – с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь.

– Изучить! – воскликнул Андзолето с гордым презрением.

– Да, да, конечно, изучить, – согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. – Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже теперь была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими

на нашей сцене...

– Ты лжешь! – с горячностью вскричал Андзолето. – Синьор граф, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она способна!

– Если б только я не боялся, что она устала... – нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпеливым ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний.

– Ну что ж, – сказал профессор, – она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, высокочтимый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?

– Боюсь, что ее пение и ее присутствие так взволнуют меня, что я буду брать фальшивые ноты, – ответил Дзустиньяни. – Почему бы вам, маэстро, самому не аккомпанировать ей?

– Я хочу видеть ее поющей, – ответил Порпора. – Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал на нее взглянуть. А мне надо знать, как она держится, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, в числе твоих экзаменаторов буду и я.

– В таком случае я сам буду аккомпанировать ей, – заявил Андзолето, усаживаясь за клавесин.

– Вы будете слишком смущать меня, маэстро, – обратилась Консуэло к Порпоре.

– Смущение – признак глупости, – ответил учитель, – тот, кто по-настоящему любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Консуэло никуда не годится!»

И, несколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ригурнели^[58]. Выбор пал на блестящую, причудливую и трудную арию из комической оперы Галуппи «Diavolessa»^{16[59]}: граф пожелал сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря огромному дарованию девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и сильным голосом все известные в то время вокальные фигуры. Правда, Порпора сам советовал ей делать эти упражнения и изредка прослушивал ее, желая убедиться, что она не совсем их забросила, но, в общем, уделял этому жанру так мало времени и внимания, что даже не подозревал, на что способна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за его жестокость и подшутить над ним, Консуэло решилась уснастить причудливую арию из «Diavolessa» множе-

¹⁶ «Дьяволица» (*ит.*).

ством фиоритур и пассажей, дотоле считавшихся невыполнимыми. При этом она импровизировала так просто, словно читала их по нотам и старательно разучивала прежде. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, столько выразительности и поистине дьявольской энергии, а сквозь эту бурную веселость внезапно прорывалось такое мрачное отчаяние, что слушатели переходили от восхищения к ужасу, и Порпора, вскочив с места, громко воскликнул:

– Да ты сама воплощенный дьявол!

Консуэло закончила арию сильным крешендо, вызвавшим неистовые крики восторга, и со смехом опустилась на стул.

– Ах ты, скверная девчонка! – сказал ей Порпора. – Тебя мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки, – быть может, для того, чтобы похитить все мои тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить старым педантом.

– Маэстро, – возразила Консуэло, – я только повторила то, что вы сами проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, послушно выполнив его волю почти до конца, приготовили ему в последней фуге хорошенький дивертисмент: начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом стали без конца повторять их в ускоренном темпе всеми голо-

сами. Вы только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом сами приказали мне исполнить их. Вот почему я преподнесла их вам в таком количестве – хотела доказать, что и я способна на излишества. А теперь прошу простить меня.

– Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, – ответил Порпора. – А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как знаешь сама, – я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем.

– Вы всегда будете моим уважаемым, моим любимым учителем! – воскликнула девушка, бросаясь ему на шею и горячо обнимая его. – Целых десять лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность. Пусть же Бог сию минуту отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности!

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Она не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на Консуэло глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней оживление и веселость на весь остаток вечера. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все стали просить ее показать себя и в трагической роли. Она ис-

полнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще более прекрасна, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Андзолето, все присутствующие, кажется, даже старик Порпора совсем обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать, не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться, – как некогда делали рыцари. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.

XIII

В то время как Консуэло одерживала победу за победой, Андзолето жил только ею, совершенно забыв о себе; но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что, по приказанию его сиятельства, гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолето.

– Синьора привыкла ходить на собственных ногах, – грубо отрезал он. – Она очень благодарна графу за его любезность.

– А по какому праву вы отказываетесь за нее? – спросил граф, который шел за ними следом.

Оглянувшись, Андзолето увидел Дзустиньяни; граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как человек, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолето

пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот тонкий, остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.

– Надеюсь, синьора, – обратился граф к Консуэло решительным тоном, – вы не захотите обидеть и огорчить меня, отказавшись от моей гондолы и не позволив усадить вас в нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, приняла это предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолето произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил Андзолето взглядом, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле – и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника наблюдали друг за другом и ни тот ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, намеревался своей кажущейся нерешительностью лишь помучить соперника, и помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Андзолето, приготовившегося заколоть его. У Андзолето тоже хватило силы воли ждать, не выдавая себя, пока граф собла-

говорит кончить свою жестокую шутку или простится с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал:

– Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь вы будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.

Он посторонился, чтобы пропустить Андзолето, и, приказав гондольерам грести к Кортэ-Минелли, остался на берегу, неподвижный как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника.

– Откуда графу известно, где ты живешь? – было первое, что спросил Андзолето у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.

– Я сама сказала ему, – ответила Консуэло.

– А зачем ты сказала?

– Затем, что он у меня спросил.

– Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?

– Очевидно, для того, чтобы приказать отвезти меня домой.

– Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?

– Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу? Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, и мне

совсем она не нужна.

– Хорошо, что она не нужна тебе, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть для тебя чрезмерный позор.

– Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, милый Андзолето. И меня удивляет, почему, вместо того чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то странные вещи.

– Неожиданному – это правда, – с горечью заметил Андзолето.

– А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был в еще большем восторге, чем я. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье; ведь я видела, как оно отражается на твоём лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой, – таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным.

– А что хорошего сулит мне будущее? Быть может, оно действительно не так уж неверно, но радоваться мне нечему.

– Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор...

– Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь.

– Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем

завидовать друг другу.

Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолето сразу успокоился.

– Да, ты права! – воскликнул он, прижимая невесту к груди. – Мы не можем завидовать друг другу, так же как не можем обмануть друг друга.

Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Кориллой, и вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задумалась.

– Почему ты сказал, – проговорила она после некоторого молчания, – что мы не можем обмануть друг друга? Конечно, это правда, но почему ты вдруг подумал об этом?

– Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, – прошептал Андзолето. – Боюсь, что гондольеры подслушают нас и передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наемных. Позволь мне подняться к тебе в комнату, – попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Кортэ-Минелли.

– Ты знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора, – отвечала она.

– О, не отказывай мне, – вскричал Андзолето, – не при-

води меня в отчаяние и бешенство!

Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

– Скажи, что с тобой? – грустно спросила она. – У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.

– А сама ты не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?

– Нет, даю тебе слово!

– Так поклянись, что ты ничего не подозреваешь, поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером...

– О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!

– А нашей любовью клянешься?

– Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением...

– Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни.

– Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?

– Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня... О! Когда наступит эта минута, тебе и так все будет слишком ясно... Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

– О боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где до сих пор у нас с тобой не было секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я предчувствовала, что возвращусь в отчаянии. Что же я та-

кого сделала, что мне нельзя насладиться днем, который казался таким прекрасным? Я ли не молила Бога так искренно, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась петь как только могла лучше! И разве я не огорчалась унижением Клоринды! Разве не заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли, причем он не подозревает, что дал мне это обещание и уже не может взять назад свое слово! Повторяю: что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?

– Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Клоринды, Консуэло?

– Я добьюсь этого, если только граф – человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это единственная возможная для нее будущность...

– И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая хоть кое-что знает, ради невежественной Клоринды?

– Розальба не расстанется с Кориллой – ведь они сестры, они уйдут вместе. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, уже и то хорошо: это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования.

– Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что эта благодетельствованная тобой дура, которая должна бы

почитать себя счастливой, если ее возьмут на третьи или даже на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых?

– Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!

– Ты? – И Андзолето расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью.

– Конечно, – ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. – В моей душе постоянно живет и всегда будет жить благородный образ Порпоры. Он часто высказывал при мне глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печалей, из его глубокого негодования, из речей, которые я слышала от него, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера – тяжкий крест, а слава – терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, кажется, ничто уже не сможет удивить меня, и если когда-нибудь мне самой придется столкнуться со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не по-

нимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолето снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все большую твердость и прямоту – качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности, и когда она снова начала расспрашивать о причине его беспокойства, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение.

– Я боюсь одного: чтобы граф не нашел меня недостойным выступать перед публикой рядом с тобой. Сегодня он не предлагал мне петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. По-видимому, он совсем забыл о моем существовании; даже не заметил, что, сопровождая тебя на клавишине, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоём ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую странность?

– Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я соглашусь только при этом условии? Разве не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил

ему об этом совершенно определенно?

– Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны?

– В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолето! Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.

– Решенное, но не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

– Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим.

– Ты клянешься?

– Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.

Тут на глазах у девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования.

«В самом деле, какой я дурак, – подумал Андзолето, – совсем с ума спятил. Как мог я допустить мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда,

что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, – все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, не подвергая себя никакой опасности. Скоро она будет разбираться в этих делах лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, принесут мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги, отдаваясь порыву страстного восторга, который испытывал впервые, но который и в последние несколько часов подавляла охватившая его ревность.

– Красавица моя! – воскликнул он. – Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы, оказавшись в этой комнате наедине с тобой, с обожанием повергнуться перед тобой ниц. Сегодня утром я вышел отсюда, ссорясь с тобой, и должен был вернуться не иначе, как на коленях! Как можешь ты меня любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!

– Я не заслуживаю всех этих громких слов, – сказала она, обнимая его. – А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в Бога – и это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил в какой-нибудь низости меня. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!»

Консуэло была очень хороша в эту минуту, она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной уступчивости. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Андзолето, и без того уже возбужденный ее необычайным успехом, увидел девушку в совершенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожелений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безумные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.

– Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! – задыхаясь, воскликнул он. – Будь моей, моей навсегда!

– Когда хочешь, хоть завтра, – с ангельской улыбкой от-

ветила Консуэло.

– Завтра? Почему завтра?

– Ты прав, теперь уже за полночь, – значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ненадеванное ситцевое платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет денег на подвенечное платье, и если моему милому не сегодня завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. Ага, негодный, тебе нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?

– Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! – с тоской воскликнул Андзолето. – Разве можно так, вдруг, обвенчаться тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам еще необходимо, очень рассердятся, если мы решимся на этот шаг, не посоветовавшись с ними, даже не известив их. Твой старый учитель недолюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Значит, чтобы добиться их согласия на наш брак, нужно время. А если даже мы и решим обвенчаться тайно, то нам понадобится, по крайней мере, несколько

дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

– Я как-то не подумала об этом, – сказала Консуэло. – Так о чем же ты мне говорил только что? Зачем ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолето. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно пожениться, но хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и еще – знаешь чему? – твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты не торопишься со свадьбой, но не сердилась на тебя. Ты часто повторял, что, прежде чем жениться, надо обеспечить будущее своей семьи, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Стало быть, со свадьбой придется подождать. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? И еще – надо заручиться успехом у публики. Что ж, мы вернемся к этому разговору после наших дебютов. Но отчего ты так побледнел, Андзолето? Боже мой, отчего ты сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?

– О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и как холодна! – с каким-то бешенством вскричал Андзолето.

– Я? Я холодна? – в свою очередь вскричала, недоумевающая, юная испанка, пунцовая от негодования.

– Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре...

Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Андзолето снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его.

– Послушай, – сказала она, – нам необходимо объяснить-ся, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять, будто я не понимаю того, что давно уже прекрасно поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром – увы! – догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей бедной матери, чтобы не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла поверить, Андзолето, что ты хочешь принудить меня нарушить клятву, которую я дала Богу в присутствии моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки – до меня подчас долетают их разговоры – называют репутацией. Я слишком незаметное существо, чтобы обращать внимание на то, что люди

думают о моей чести, – для меня честь состоит в том, чтобы исполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы, – меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть своя религия, и я придерживаюсь ее как умею, как могу. Я не считаю, что наша любовь, становясь с годами все более пылкой, должна стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно обуздать.

– Легко! – воскликнул Андзолето, горячо прижимая ее к груди. – Легко! Я так и знал, что ты холодна!

– Пусть я буду холодна! – вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэло. – Но Господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.

– Так иди же к нему! – крикнул Андзолето с досадой. – Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, которая никогда не отпускала его без примирения, даже если между ними возникала самая пустячная ссора, удержит

его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; когда он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижимо, и пролежала она до утра.

XIV

– Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия, – говорил граф Дзустиньяни своему другу Барбериго этой же теплой и тихой ночью, сидя с ним в два часа утра на балконе своего дворца.

– Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюбляться в нее, – отозвался юный и блестящий Барбериго. – Подчиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость, предупреди меня – тогда и я попытаю счастья...

– Не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.

– Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма серьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько денег и творить столько безумств.

– Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на сей раз это больше чем увлечение – это, право же, истинная страсть. Никогда в жизни я не встречал существа, которое было бы так своеобразно красиво, как Консуэло. Она словно светильник: по временам пламя его начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь

языком поэтов, бледнеют перед ним.

– Ах! – проговорил, вздыхая, Барбериго. – Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, естественная манера держаться, без всякого кокетства, – как эта девушка меняется, какой божественной становится она, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба этой нарождающейся славы!

– Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то что я целый день следил за ней, изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.

– Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло – цветок невинности. Она любит этого юнца Андзолето и будет любить его еще несколько дней. Если ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, быстро охладет к своему избраннику.

– Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка!

У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!

– Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, – возразил Барбериго. – Главное – узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит для Консуэло скорее. Во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

– Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что об этом думаешь ты сам?

– По-моему, они не любовники.

– Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец, нравы подобных людей...

– Консуэло – чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.

– Ты приводишь меня в восторг!

– Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь возле себя неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолето будет именно таким. Я достаточно

наблюдал его вчера в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы иметь возможность безошибочно предсказать все его будущие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Брачные узы легко расторгимы между людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих женщин – пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.

– Твои слова приводят меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав.

На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолето, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и для аристократов почти всегда проходили безнаказанно. Андзолето не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.

Андзолето скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вско-

чил и побежал на Кортэ-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и, поднявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолето молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь непохожей на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолето вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом отшатнулась.

– Я вижу, ты боишься меня теперь и, вместо того чтобы поцеловать меня, хочешь убежать! – с отчаянием в голосе проговорил Андзолето. – Да, я жестоко наказан! Прости меня, Консуэло! Я сторожил здесь твой сон больше часа. Разве после этого ты можешь не доверять своему другу? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, про-

гони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?

Консуэло молча прижала к груди белокурую голову венецианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и, снова опустив свою голову на маленькую жесткую подушку, она тихо проговорила:

– Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз – мы так дурно с тобой расстались.

– Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! – ответил ласково Андзолето. – Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часок-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.

Андзолето так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одно-

го дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.

«Спасибо вам, любезные господа, – думал Андзолето, – вы преподали мне урок вашей собственной морали, и «негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого повесы-развратника из вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, знатный и мудрый Барбериго, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе!»

Среди этих размышлений Андзолето, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок: как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать, и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде полога, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое,

замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, – девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолето мысленно воскликнул:

«О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение, и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которое никогда не достанется тебе!»

В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкий слух Андзолето уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Кортэ-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолето был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходявшего на маленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолето не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было войти беспрепятственно и без шума, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выда-

вая внутреннего волнения.

Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его, показавшись наиболее благоприятным условием обольщения. Он привез с собой уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолето был отомщен за вчерашнюю унижительную сцену у гондолы.

– Ваше сиятельство, господин граф! – воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожиданным появлением. – Сейчас я разбужу мою... невесту.

– Нет! – ответил граф, который уже успел прийти в себя и повернулся к Андзолето спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. – Я счастлив, что вижу ее такую, и запрещаю тебе будить ее.

«Да, да! Любуйся ею! – думал Андзолето. – Мне только это и нужно».

Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг.

– Ты был прав, Дзото, – сказал он непринужденно, – Кон-

суэло – лучшая певица во всей Италии, а я ошибался, сомневаясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире.

– Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом, – заметил лукаво Андзолето.

– И ты, конечно, передал ей мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.

– Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка пошевелилась.

– Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Вот что, – добавил граф, когда Андзолето, исполнив его приказание, очистил стол, – пока она спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт.

– Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель! И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?

– Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего.

– Но если Корилла пустит в ход интриги?

– Если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму.

– Бог мой! Для синьора графа нет преград!

– Да, Дзото, – ответил сухо граф, – мы именно таковы: если уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор

всему и всем.

– Как! Условия ангажемента те же, что у Кориллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?

– Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее самой, – прибавил граф, слегка повысив голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. – Ее судьба в ее руках.

Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати. Не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

– Вы слишком добры, синьор граф, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. Что, если в этот день я окажусь не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой... Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им...

– Некрасивой в такой день, Консуэло! – воскликнул граф, пожирая ее глазами. – Вы – некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! – продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. – Если вы восхи-

тительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?!

Андзолето, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям Дзустиньяни, тотчас успокоило его.

– Синьор граф, – сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, – смотрите не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня. Кто бы я ни была – урод или красавица, но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно, что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также приглашен в ваш театр. У нас с ним должна быть одна сцена и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.

Это неожиданное признание немного удивило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.

– Вы правы, Консуэло, – ответил он, – и я вовсе не собираюсь вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у него и большой талант, все-таки ему далеко до вас.

– Я думаю иначе, – горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.

– Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, – улыбаясь, заметил Дзустиньяни. – Не отпирайтесь, моя красавица! Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками».

– Я очень благодарен господину профессору! – принужденно улыбаясь, сказал Андзолето.

– Ничего, он изменит свое мнение, – весело проговорила Консуэло. – Публика заставит моего дорогого, славного учителя убедиться в обратном.

– Ваш дорогой, славный учитель – лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, – возразил граф. – Пусть же Андзолето продолжает пользоваться вашими указаниями. Это послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.

– Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо...

– Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте сами, Консуэло. Вот вам перо – сами вычеркивайте, сами добавляйте; моя подпись внизу.

Консуэло взялась за перо. Андзолето побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолето и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.

– Подписывай не читая, – сказала она, – этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.

Андзолето все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.

– Консуэло! – воскликнул Дзустиньяни. – Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, – добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.

Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолето подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.

«Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное платье», – подумала Консуэло, оставшись одна.

Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбе-

жав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особую учтивость, остался с Андзолето ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может оказаться так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.

XV

Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, попытался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться на этом и не поскупились на материю. Превратившись через два дня в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она так восхитила своим пением его и его друзей, Консуэло все-таки была красива, хотя это и не шло к характеру ее красоты, а нужно было лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако ей так и не удалось этого достигнуть. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее – девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия – не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин,

жаждущих одного – блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарилось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она мгновенно преображалась – огонь гениальности и любви загорался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоряла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло. У этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.

Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить в ней чувство соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы разбудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, усталая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. У Кориллы она не нашла подлинного таланта, благородной страсти, величия. Она считала себя достаточно

сведушей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии – восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.

– Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит вам, – сказал он ей. – Он дает лишь слабое представление о победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя публике такую, какой показывали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?

– Нисколько, синьор граф, – улыбаясь, ответила Консуэло. – Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью. Корилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть и другие, не использованные ею эффекты.

– Как? Вы не думаете о публике?

– Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая

для этого силы в местах менее трудных. Как видите, господин граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не может меня научить.

Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили Дзустиньяни, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот необычный ум.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных шарлатанских объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели довести до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той всемогущей машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но они происходили в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь одними артистами, столь же искренно не любя других. И не всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда – как и теперь – в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки, но прежде не умели скрывать так искусно причины раз-

ногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же мелкие человеческие чувства – только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.

В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготавливал публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого – он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, – здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось уже полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная Консуэло еще и не подозревала о чувствах графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка – какая-то уличная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь красивым голосом да сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая

роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных, были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.

Истинные *dilettanti di musica*¹⁷ также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной певицы туда вернутся и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпочитала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры – все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо

¹⁷ Любители музыки (*ит.*).

больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно занял место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.

Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление, и все эти тревоги, связанные с ее начинающейся карьерой. Она готова была дебютировать без всяких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу. Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.

Андзолето отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его собственный успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; затем тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заставить забыть его было не так-то легко. Правда, Андзолето тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивитель-

но искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходившим его собственный, Андзолето часто пел очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале его пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но он и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Кортэ-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолето был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.

Среди всех этих треволнений Андзолето пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и к его мести, что она получила блестящее предложение от Итальянской оперы в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Андзолето решил обезоружить этого страшного врага, действуя

лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.

XVI

Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в изящнейшем неглиже, как говорили в то время. Однако при дневном свете Андзолето не мог не заметить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень весело.

– А, это ты, плутишка? – воскликнула она, шутливо хлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. – Опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли ты разубедить меня в том, что ты самый коварный из всех поклонников и самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из мужчин, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. И величайший глупец, что заставили себя ждать: через сутки я и думать о вас забыла.

– Сутки! Да это страшно много! – ответил Андзолето, целуя выше локтя сильную, полную руку Кориллы. – Ах, если бы я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю: будь я настолько легковерен, чтобы принять за чистую монету то, что вы мне говорили...

– То, что я говорила, советую забыть. Если бы ты пришел

ко мне тогда, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня?

– Разве это дурно – не хотеть пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они...

– Доканчивай! «Когда они в опале»? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг! – И Корилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом.

Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна казалась несколько поблекшей, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее красивом, цветущем лице, все же Андзовето, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в том уголке его души, куда Консуэло не пожелала снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной, безыскусственной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. На издевательства Кориллы Андзовето отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю «любовь» за неимением более подходящего термина, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, возбуждающие низ-

менные инстинкты женщины, как Корилла, значит осквернять его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно.

– Признаюсь, ты нравился мне целый вечер, – сказала она, – но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а значит, фальшив и способен на любое предательство. На тебя нельзя положиться. Тогда, ночью, в моей гондоле ты разыграл деспота и ревнивца. После пресных ухаживаний наших знатных молодых людей я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься... На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам обоим, всем троим, нет – всем четверым! – невольно разгорячившись, крикнула она, отнимая у Андзолето руку.

– Жестокая! – вскричал он, силясь снова поймать эту пухлую ручку. – Вам бы следовало понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты... О том же, что произошло после, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам думать об этом теперь, когда...

– Я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?

– Если я ее люблю, то почему же не женился на ней до

сих пор?

– Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам этого хочет. Говорят даже, что у него есть основание желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно...

Андзолето покраснел, услышав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете.

– Ага! Мои предположения тебя оскорбили! – воскликнула Корилла. – Прекрасно! Это все, что я хотела знать. Ты любишь ее. Когда же свадьба?

– Никакой свадьбы не будет.

– Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой милости у него.

– Ради бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами.

– Согласна! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга...

Андзолето был возмущен. Он встал с намерением уйти. Но, уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, которую хотел умиротворить. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный, стыдясь своей жалкой роли.

Корилла горела желанием толкнуть его на измену – не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя была не так уж уверена в том, что соперница заслужила все эти оскорбления.

– Вот видишь, – сказала она, пронизывая Андзолето

взглядом, который словно пригвоздил его к порогу будуара, – я имела основание не верить тебе: сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же – ее или меня?

– Ни ту ни другую! – крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. – Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

– Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно!

– Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и я, вовсе не ее любовник, – она чиста, как ребенок; и единственный, кто виноват перед вами, – это граф Дзустиньяни.

– Значит, я могу сделать так, чтобы цыганку освистали, и это несколько не огорчит тебя? Хорошо! Тебе предстоит сидеть в моей ложе и освистать ее, а потом, после спектакля ты станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то я передумаю.

– Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы ведь знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я тоже должен буду стать жертвой вашего гнева. Что же сделал я, несчастный, чем заслужил вашу немилость? У меня была мечта – прекрасная, пагубная: целый вечер я воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне, что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но, оказывается, вы презираете, ненавидите меня. А я-то

любил вас, боготворил вас так, что вынужден был бежать... Что ж, если я внушаю вам такое отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз, вы скажете, что я не противен вам, я готов претерпеть при публике ваш гнев.

– Ах ты, змея! – воскликнула Корилла. – Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх: кто ты – очаровательнейший любовник или опаснейший враг?

– Я – ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже не будь я пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас знает каждый, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами огорчила и раздосадовала графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей; она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки? Ведь она трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе как с почтением. Вы приписываете ей наглые притязания, а она на них совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны – с одной стороны, стремление графа показать ее своим друзьям и старания этих услужливых друзей преувеличить ее достоинства, с другой – ваши поклонники. Вместо того чтобы внести в вашу душу покой, убедить, что ваша слава непоколебима, а сопер-

ница трепещет, они, напротив, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так удивляет, так поражает меня, что я просто не знаю, как рассеять ваши сомнения.

– Прекрасно знаешь, болтун проклятый! – сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. – Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что способности – правда, совсем иного склада, чем у меня, – у нее, безусловно, есть, раз сам строгий Порпора во всеуслышание говорит об этом.

– Вы ведь знаете Порпору. И, стало быть, знаете его странности, скажу больше – его мании. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех «звезд», обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица внимательно слушала его изречения и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы такое значение причудам этого сумасшедшего старика?

– Так у нее нет таланта?

– У нее красивый голос, и она неплохо поет в церкви, а о театре, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что до ее сценических способностей, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградила небо.

– Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела

до наглости!

– Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услышите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание и тогда, вместо того чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, сами поддержите ее.

– Или ты лжешь, или мне солгали мои друзья.

– Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребенка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы страхом перед соперницей, даже если б то была сама Фаустина или сама Мольтени!

– Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда мне не вредили, они никогда и не огорчали меня. Но если хотят меня унижить, заставить страдать...

– Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но эта девочка так застенчива! К тому же и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.

– Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое присутствие здесь.

– Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его

причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!

Черные глаза Андзолето засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы, изображая на своем лице самую нежную любовь.

Корилла была не лишена и проницательности и хитрости, но, как это случается с самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее, и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолето она не встречала мужчины. Она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а вкусив с ним радость удовлетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Андзолето, тоже по-своему влюбленный в нее (правда, сердце его все-таки не могло изменить Консуэло), был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кориллу, пока это было ему необходимо, то есть помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, обуздать. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет

заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене. Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не насытилась и на которые Андзолето, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на свою досаду, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

– Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, – говорил он ей, – конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было маловероятно: граф был бы в восторге, если бы узнал, что Андзолето изменяет своей невесте. Однако тщеславной Корилле хотелось верить обману, и она поверила. Поверила и тому, что ей нечего бояться любви Андзолето к Консуэло. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно, – тем более что, по сути дела, это

было правдой – и ему удалось усыпить ревность Кориллы. Великий день близился, а ее интриги против Консуэло прекратились; она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная де-бютантка провалится и без ее стараний, а Андзолето будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом не принимала участия. Помимо того, Андзолето сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, притом довольно резко.

Разрушая, таким образом, втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и дерзкой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Андзолето, будто Корилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождения, подбивал юношу на разные подлые проделки. Все это удивляло и огорчало Консуэло.

– Гораздо было бы лучше, – говорила она своему жениху, – если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь

мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, и мне грустно видеть, что о ней ты несколько не думаешь.

– Не беспокойся, дорогая Консуэло, – отвечал Андзолето. – Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной и просвещенной. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало мыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.

XVII

Ревность Андзолето к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха, и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как пока что это удалось ему не более, чем в первый день, то он не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолето раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолето предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Итак, он изошрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным тяготением своего покровителя к музыке и его природной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, глубокую благодарность; он же, испытывая от близости этой чистой, преданной

души и счастье и тревогу, уже побаивался того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.

В то время как он со страхом, но и не без удовольствия переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала насчет его победы вся Венеция), Корилла тоже ощущала в себе какой-то переворот. Она любила если не благородной, то пылкой любовью; ее властная и раздражительная натура склонилась под иго юного Адониса^[60], подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорила настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, – качество, которым вовсе не обладала, – и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа возвышает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.

Испытанное потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее природы были, если можно так выразиться, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она в этой борьбе ослабела физически, и окружающие замечали с изумлением – одни со злорадством, другие с испугом, – что с каждым днем она теряет свои природные данные.

Голос то и дело изменял ей. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на спектакле, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, заплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг.

Наконец великий день настал. Зала была так переполнена, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выходявшей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, блистая драгоценностями и цветами, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, занимали часть сцены. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе у авансцены. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась, меж тем как Андзолето, облекшись в костюм античного воина, правда с причудливым налетом современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя за кулисами кипрским вином.

Опера, которую ставили, была написана не классиком, не новатором, не строгим композитором старого времени и не

смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, – думая прежде всего об успехе своей ученицы, – а потом и разучил партитуру «Гипермнестры»^[61]. Это было первое лирическое произведение некоего молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господином Христофором Глюком.

Когда на сцене появился Андзолето, восторженный шепот пронесся по зале. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем, и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, когда на сцене вместо угреватого толстяка появился двадцатичетырехлетний юноша, свежий, как роза, белокурый, как Феб, сложенный, как статуя Фидия, настоящий сын лагуна: *bianco, cresco e grassotto*¹⁸.

Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было его отличного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У

¹⁸ Белокурый, курчавый и плотный (*ит.*).

дебютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно по венецианскому обычаю.

Успех вернул Андзолето смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.

– Вот она! – раздавалось со всех сторон.

– Кто? Испанка?

– Да, дебютантка. Любовница Дзустиньяни.

Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой величественной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков.

– Ах, коварный! Он насмеялся надо мной! – вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолето, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрытой усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту слышался надтреснутый голос старика Лотти:

– *Amici miei, questo e un portento!*¹⁹

¹⁹ Друзья мои, это чудо! (*ит.*)

Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали «бис», семь раз вызывали на сцену, в театре стоял восторженный гул. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время комическим жаром.

– Чего они так кричат? – спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. – Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолето, безусловно, отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его промахам и не слишком восторженное отношение к удачам говорили о том, что если женщинам – этому экспансивному, шумному большинству – и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свое восхищение приберегали для примадонны. Ни один из тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и трех человек, которые устояли бы против стихийного увлечения и непреодолимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.

Опера имела большой успех, хотя, в сущности, самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как говорят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея»^[62]. В ней было мало мест, которые бы поражали

слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда, принятая благодаря протекции Консуэло, прогнусавила глухим голосом и с вульгарным акцентом свою второстепенную роль, обезоружив всех красотой плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!

В последнем антракте Андзолето, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил пыл любовницы, ударив ее кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.

– Подлец! Изменник! Разбойник! – задыхаясь, бормотала она. – И ты и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

– Несчастливая, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку – и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! – прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолето, вытащив нож, с которым он никогда не расставался и которым владел с искусством истинного сына лагун.

– Он сделает то, что говорит, – с ужасом прошептала Ро-

зальба. – Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!

– Да, да, совершенно верно, и помните это, – ответил Андзолето, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански – таинственным шепотом и молниеносно, – все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолето с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увидался вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что последняя в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров.

Это повергло в отчаяние многих (главным образом представительниц прекрасного пола), но для большинства яви-

лось просто очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не появится ли прежний тенор Стефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло силой своей игры, выразительностью пения сделала ее такою. Она заставила проливать слезы, и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбки. Однако из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолето был менее блестящ, чем мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. В конце ее опять вызывали и проводили горячими аплодисментами.

После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолето совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после шумного спектакля, этого никто не заметил. Но на следующий день кто-то сопоставил сломанную дверь с полученной тенором царапиной, и это навело людей на мысль о любовной интриге, которую Андзолето так тщательно скрывал до сих пор.

Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф, устроивший роскошный банкет в честь Консуэло, усадил своих гостей, едва известные венецианские поэты начали приветствовать певицу мадригалами и сонетами, сочиненными в ее честь еще накануне, как лакей тихонько

сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:

«Если ты не придешь ко мне сию же минуту, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был – хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!»

Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолето вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:

«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что для женщины, обладающей таким характером, страх был единственной уздой, угроза – единственным средством укротить ее. Однако он невольно помрачнел и за ужином был рассеян. А как только встали из-за стола, сбежал и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна, растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на груди, вздрагивавшей от рыданий. Она отослала сестру, служанку, и проблеск невольной радости озарил ее лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолето знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он ре-

шил держаться уже взятой на себя роли – быть неумолимым и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься навсегда. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем словив и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на высокомерную красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то смутным волнением, он уступил ее исступленной страсти, и она снова познала его ласки. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолето ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль оскорбленного повелителя, который снизошел до прощения.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, причиняемые ей любовью.

– Ну да, я ревнива, – говорила она, – и, если хочешь, хуже того – завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, как жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без пощады и без сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха и горечь падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что я еще

полна сил, что успех, богатство, заманчивые надежды – все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется на свете хоть что-нибудь, что могло бы утешить меня в том, что я покинута всеми друзьями, сброшена с трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор – первый в жизни, единственный за всю мою карьеру – обрушился на меня в твоём присутствии! Скажу более: этот позор – дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила, потеряв власть над собой, потеряв волю. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное благородство и лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолето. Я была оскорблена – ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я притворялась спокойной. Я была недоверчива – ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние – ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена – ты мне велел молчать, и я молчала. Что же я могла сделать еще? Ведь я играла роль, мне несвойственную, и приписывала себе мужество, которого во мне нет. А теперь, когда это напускное мужество покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который должен был бы пожалеть меня, ты топчешь меня ногами и собираешься оставить умирать в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолето! У вас каменное сердце, и для вас я стою не

больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова страдать еще и еще...

– Но послушай, друг мой, – продолжала она, обнимая его еще нежнее, – все, что ты заставил меня выстрадать, ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей будущности и о твоём счастье. Ты погиб, Андзолето, дорогой мой Андзолето! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подзреваешь этого! А я – я это вижу и говорю себе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет – все это только на его погибель, и я – орудие соперницы, наступающей ногой на головы нам обоим».

– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Андзолето. – Я не понимаю тебя.

– А между тем ты бы должен был понять меня, понять хотя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! – она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, лучше тебя, мой дорогой Андзолето... Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже

раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны зажечь в мужчинах более безумную страсть, дать им познать более сильные ощущения, чем совершеннейшие красавицы мира... Разве ты не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с ним – это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества, тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что буду дрожать, что мне не удастся издать ни одного звука... И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место,

откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолето! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была бы отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься здесь с нею, для тебя в Венеции нет будущего! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, тебе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?» И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или муж, или любовник божественной певицы».

Андзолето стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке.

– Ты сошла с ума, милая Корилла! – ответил он. – Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас больное воображение. Что до меня, то повторяю: я не любовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же, как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на этого воробья – не так ли он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну,

довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Первоначальный замысел романа «Консуэло» относится к концу 1840 года. Проследить историю создания произведения очень трудно, так как, к сожалению, не сохранились ни наброски, ни полная рукопись романа. Приступая в 1841 году к работе над «Консуэло», Жорж Санд еще не очень ясно представляла себе общий замысел, план и жанр новой книги. Впоследствии, в предисловии 1854 года, она вспоминала: «Я начала «Консуэло» с мыслью написать всего-навсего новеллу. Это начало понравилось: меня побудили его развернуть, заставив прочувствовать все, что восемнадцатый век представлял интересного в области искусства, философии и чудесного». 1 февраля 1842 года первые главы «Консуэло» появились в журнале «Ревю эндепандант», издаваемом друзьями писательницы Пьером Леру и Луи Виардо. Популярное имя Жорж Санд значило очень много для журнала. Писательница должна была два раза в месяц представлять по тридцать – сорок страниц текста нового романа. В письмах Жорж Санд не раз говорит о спешке, в которой создавалось произведение: «Я понимала, что подобный метод работы ненормален и таит в себе большую опасность». Безусловно, некоторая хаотичность сюжета «Консуэло» во многом объясняется этой спешкой. Издатели журнала требовали все новых и новых глав. Леру писал Жорж Санд в мае 1842 года: «Где четвертая часть

«Консуэло»? Что вы со мной делаете! Читатели, жаждущие вашей книги, разорвут меня на части, если первого июня я не выпущу очередной номер журнала. Кругом все только и говорят о «Консуэло». В письме к Шарлю Дюверне писательница признавалась: «Я вновь сижу за «Консуэло» и похожа на собаку, которую все время подхлестывают».

2.

...словно пастух Парис, присуждающий яблоко... – Троянский царевич Парис должен был решить, кому из трех богинь – Гере, Афине или Афродите – отдать яблоко с надписью «Прекраснейшей». Парис отдал его Афродите.

3.

Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710–1736) – выдающийся композитор неаполитанской оперной школы, один из создателей оперы-буфф («Служанка-госпожа», 1733). Из произведений церковной музыки, сочиненных Перголезе, наибольшей известностью пользуется «Stabat mater». «Salve, Regina» – произведение для голоса, скрипичного квартета и органа. Написано на слова католического гимна в честь девы Марии.

4.

Скарлатти Алессандро (1659–1725) – один из основоположников неаполитанской школы, создавший

классические образцы серьезной оперы (оперы-серия). Сочинял также оратории, мессы, кантаты.

5.

Мендиканти («нищенствующие») – монашеские ордена (францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.), члены которых обязывались жить подаянием.

6.

Порпора Никколо (1686–1766) – композитор, капельмейстер и выдающийся вокальный педагог. Работал в Неаполе, Венеции, Вене, Дрездене, Лондоне. В «Консуэло» отображены эпизоды биографии композитора, относящиеся к 1740–1750-м гг.: преподавание музыки в Венеции, затем пребывание в Вене и знакомство с юным Гайдном. В романе речь идет, по словам Жорж Санд, о полосе жизни Порпоры, почти неизвестной его биографам.

7.

...одной из тех школ... – В Италии первые музыкальные школы открывались при духовно-благотворительных учреждениях и представляли собой сиротские дома; итальянское слово «conservatorio» первоначально означало «приют», «дом призрения». В Венеции музыкальные училища открывались при больницах и назывались «ospedale». Так, в XVI в. появились Ospedale dei Mendicanti,

8.

...как сказал Жан-Жак Руссо... – Во Франции Руссо пользовался известностью не только как писатель, но и как композитор и теоретик музыки. Руссо жил в Венеции в 1743–1744 гг. и описал свои впечатления о городе в 7-й (а не в 8-й) книге «Исповеди». Эти страницы Руссо Жорж Санд вспоминает и в других произведениях («Роза и Бланш», «Ускок»).

9.

...она принадлежала к потомкам Измаила... – Сын Авраама и его египетской служанки Агари Измаил считается родоначальником арабов.

10.

...владелец театра Сан-Самуэле. – В 7-й книге «Исповеди» в числе своих венецианских знакомых Руссо называет владельца театра сенатора Дзустиньяни, но не может вспомнить, какой из театров ему принадлежал – Сан-Лука или Сан-Самуэле.

11.

Аллегри Грегорио (ок. 1582–1652) – композитор и певчий Сикстинской капеллы, автор знаменитого церковного

песнопения «Мизерере».

12.

Палестрина Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525–1594) – выдающийся композитор, один из реформаторов хоровой музыки.

13.

Альбинони Томмазо (1671–1750) – известный венецианский композитор.

14.

Аполлини Сальваторе (даты рождения и смерти неизвестны) – венецианский скрипач и композитор начала XVIII в.

15.

Фриуль (и т. Фриули) – местность в Карнийских Альпах, к северо-востоку от Венеции.

16.

Лидо – намытая волнами полоса суши, отделяющая венецианские лагуны от моря.

17.

«Поистине, нас привязывает к женщинам...» – Руссо,

18.

Павел и Виргиния – герои одноименного романа Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), юноша и девушка, выросшие на лоне девственной природы тропического острова. Нравственная чистота Павла и Виргинии противопоставляется в романе искусственной цивилизации и испорченности высшего общества.

19.

Пульчинелла – персонаж итальянской комедии дель арте, горбун с длинным крючковатым носом. Родина его – Южная Италия. Крестьянин, попавший в городскую среду, Пульчинелла представлял на сцене самые разнообразные профессии и занятия, сочетая в себе черты деревенского простака и бойкого, расторопного горожанина.

20.

Догаресса – жена дожа, главы государственной власти в Венецианской республике.

21.

Бригелла – персонаж комедии дель арте, первый из двух типов «дзанни» (слуг), хитрый и ловкий малый, изворотливый, не брезгающий никакими средствами.

Обычно противостоял второму дзанни – простоватому и беспомощному Арлекину.

22.

...приключениями рыцарей плаща и шпаги. – Имеются в виду герои бытовой испанской комедии эпохи Возрождения, получившей свое название по типичным принадлежностям дворянского костюма того времени. Комедии плаща и шпаги, отличавшиеся быстрым темпом действия, были насыщены всевозможными приключениями, сценами дуэлей, преследованиями, переодеваниями.

23.

Церковь Сан-Фантино расположена в центре Венеции, недалеко от площади Святого Марка. Здесь, близ Кортес-Минелли, проживала и сама Жорж Санд во время своего путешествия в Венецию в 1834 г.

24.

Спинет – небольшой клавесин четырехугольной, реже треугольной формы.

25.

«Софи была кривая, а Каттина хромая». – Руссо, «Исповедь», кн. 7-я.

26.

Пьяццетта – «малая площадь», служит как бы преддверием, соединяющим площадь Святого Марка с морским каналом.

27.

Святая Цецилия – согласно католической легенде, знатная римлянка, принявшая мученическую смерть за христианство. Считалась покровительницей музыки, особенно церковной.

28.

Гассе Иоганн-Адольф (1699–1783) – один из крупнейших и плодовитейших оперных композиторов XVIII в. Родился в Гамбурге. Молодость провел в Италии, где получил музыкальное образование и прославился своими первыми операми. В 1731 г. Гассе вместе с женой – певицей Фаустиной Бордони – отправился в Дрезден и стал капельмейстером придворной итальянской оперы. В 1763 г. переехал в Вену, в 1773-м вернулся в Италию. Умер в Венеции.

29.

Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберти (Ж. Санд называет последнего Уберто) – знаменитые певцы-кастраты. Оскопление с целью сохранения детского голоса стало широко практиковаться в Италии с конца XVII в., после

небывалого успеха нескольких певцов, подвергшихся в раннем возрасте этой операции. В зависимости от голоса они назывались сопранистами или контральтистами.

30.

Минготти Реджина (1722, по другим данным 1728–1807) – дебютировала в придворном театре Дрездена, где соперничала с Бордони-Гассе, выступала вместе с Фаринелли в Мадриде, пела в Лондоне.

31.

Габриэлли Катарина (1730–1796) – выступала в Вене, Парме, Петербурге, Венеции и Милане.

32.

Мольтени Бенедетта Эмилия (1722 – ок. 1780) – была певицей Берлинской оперы.

33.

Карл VI (1685–1740) – австрийский император (1711–1740). Увлекался музыкой, покровительствовал композиторам и певцам.

34.

... в Лондон, где... имел честь соперничать с самим великим Генделем... – Приглашение Порпоры в Лондон (1733 г.)

было связано с борьбой, которую вели против Генделя его противники, поддерживаемые принцем Уэльским. Опера Порпоры «Ариадна» шла одновременно с «Ариадной» Генделя и одержала верх благодаря более сильному составу исполнителей. Порпора пытался состязаться с Генделем и в сочинении ораторий, противопоставив его «Деборе» «Давида и Вирсавию». К 1737 г. оперная труппа Порпоры распалась, и он вынужден был вернуться в Венецию.

35.

...занял место директора уже другой консерватории. – Речь идет об Ospedale della Pieta.

36.

Йомелли Никколо (1714–1774) – выдающийся композитор, творчество которого способствовало обновлению традиционного жанра итальянской серьезной оперы (оперы-серия).

37.

Лотти Антонио (ок. 1667–1740) – венецианский композитор, сочинял оперную и церковную музыку.

38.

Кариссими Джакомо (1605–1674) – композитор, капельмейстер и органист; был известен своими ораториями.

39.

Гаспарини Франческо (1668–1727) – композитор и капельмейстер. Сочинил свыше шестидесяти опер и большое число произведений церковной музыки. Преподавал в Ospedale della Pieta.

40.

Кокки Джоакино (1715–1804) – оперный композитор. Преподавал музыку в Венеции и в Лондоне.

41.

Буини Джузеппе Мария (ок. 1695–1739) – поэт и композитор, представитель нарождавшейся в начале XVIII в. в Италии оперы-буфф.

42.

Галуппи Бальдассаре (1706–1785) – композитор и капельмейстер, один из крупнейших мастеров оперы-буфф. Значительное число его произведений написано на либретто Гольдони. Работал во многих городах Европы, в том числе и в Петербурге, где в 1743–1748 гг. руководил придворной певческой капеллой.

43.

Кьодзетто (настоящее имя – Джованни Кроче, ок.

1537–1609) – плодовитый венецианский композитор, сочинявший мадригалы, канцонетты, юмористические песенки (каприччи).

44.

Мартини Джованни Баттиста (1706–1784) – композитор и теоретик контрапункта, автор трехтомной «Истории музыки».

45.

Дуранте Франческо (1684–1755) – неаполитанский композитор и педагог, сочинял преимущественно церковную музыку.

46.

Монтеверди Клаудио (1567–1643) – крупнейший итальянский композитор XVII в. Создал новый тип оперы, отличающийся эмоциональной взволнованностью, глубиной музыкально-психологических характеристик, богатством ансамблевых и ариозных форм.

47.

Марчелло Бенедетто (1686–1739) – композитор и поэт. Писал оперы, кантаты, мессы, оратории; прославился сочинением музыки к 50-ти псалмам, переложенным на стихи Джироламо Асканио Дзустиньяни. Является автором

сатиры «Молодой театр» (ок. 1720 г.), написанной в форме иронических советов оперным композиторам.

48.

Лео Леонардо (1694–1744) – неаполитанский оперный композитор, проявивший себя как в жанре оперы-серия, так и в жанре оперы-буфф.

49.

Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи... – К Исайе, которому предстояло стать пророком, явился Серафим с горящим углем в руке и, прикоснувшись к его устам, очистил его от греха (Исаяя, гл. VI, ст. 6–7).

50.

«I cieli immensi narrano»... – Этот псалом Марчелло не раз исполняла подруга Жорж Санд – знаменитая певица Полина Виардо.

51.

Святая Тереза (Тереза де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582) – испанская писательница, монахиня. Представительница католической мистики, проповедовавшая идею непосредственного общения человека с Богом. Подвергалась преследованию инквизиции. В 1622 г. была причислена Папой Римским к лику святых.

52.

Фаустина – имя Бордони-Гассе (1710–1781), знаменитой певицы, супруги композитора Иоганна-Адольфа Гассе. Пела на сценах Венеции, Неаполя, Дрездена и Лондона.

53.

Романина – «Римляночка» – прозвище певицы Марианны Бульгарини (1688–1734).

54.

Куццони Франческа (1700–1770) – выдающаяся певица, выступавшая с огромным успехом в Лондоне – сперва в театре, руководимом Генделем, затем в театре его противников, соперничая с Бордони-Гассе. Пела также в Австрии, Италии и Голландии. Умерла в нищете.

55.

...что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! – Имеется в виду крупнейшая композиторская и вокально-исполнительская школа конца XVII–XVIII вв. Виднейшие ее представители – Скарлатти, Дуранте, Порпора, Лео, Винчи, Йомелли, Перголезе, Чимароза. Одним из ведущих оперных жанров неаполитанской школы, получившим распространение также за пределами Италии, была опера-серия. Сюжеты опер заимствовались

из античной истории и мифологии, особое внимание обращалось на красоту мелодии. Неаполитанская школа способствовала значительному подъему искусства сольного пения, положив начало эпохе бельканто. Однако увлечение виртуозностью в ущерб музыкально-драматическому содержанию постепенно привело к кризису оперы-сериа. Реакцией на отвлеченную героику оперы-сериа явилось возникновение в том же Неаполе оперы-буфф.

56.

Фиоритура (от ит. Fioritura – цветение) – всевозможные мелодические украшения (трели, группетто и др.), широко использовавшиеся в сольном пении, особенно в оперных ариях.

57.

...Медее или Дидона... – Миф о Медее был положен в основу оперы «Медее и Язон» (1726) Джованни Франческо Брусы и оперы «Медее узнанная» (1735) Леонардо де Винчи. Сказание о Дидоне использовано в опере Йомелли «Покинутая Дидона» на текст лирической драмы Метастазиио.

58.

Ритурнель (от ит. Ritorno – возвращение) – в вокальной музыке – инструментальные эпизоды, исполняемые в начале

и в конце каждой строфы песни или арии.

59.

«Diavolessa» – опера Галуппи, написанная на сюжет одноименной комедии Гольдони; была поставлена в Венеции в театре Сан-Самуэле в 1755 г.

60.

...склонилась под иго юного Адониса... – Адонис, возлюбленный Афродиты, погиб на охоте, смертельно раненный вепрем. Любовь Венеры и Адониса явилась темой полотен Тициана, Веронезе, Пуссена, Рубенса.

61.

«Гипермнестра» – одна из семи опер молодого Глюка, написанных в манере неаполитанской школы (см. примеч. к с. 63). Первой из них была опера «Артаксеркс», поставленная в 1741 г. в Милане.

62.

...в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». – «Альцеста» (1767) и «Орфей и Эвридика» (1762) – произведения зрелого Глюка, стремившегося освободить оперу от самодовлеющей вокальной виртуозности и усилить ее драматическую выразительность.